

Виктор Авдеев

Моя одиссея

Авдеев В.

Моя одиссея / В. Авдеев —

Содержание

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ПАРТА	4
БУТЕРБРОД С ПОВИДЛОМ	14
СЫН КНЯЗЯ	21
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Виктор Авдеев

Моя одиссея

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ПАРТА

После смерти матери нас, сирот: брата, двух сестер и меня, самого меньшего в роду, тетки забрали в стольный город Всевеликого Войска Донского Новочеркасск. Я был рад покинуть свою степную станицу на Хопре. Мне надоело с матерчатой сумкой через плечо ходить в церковноприходскую школу, дразнить собак в подворотнях и очень хотелось хоть разок прокатиться в поезде.

Везли нас в красном телячем вагоне. Я слушал грохот колес, то и дело норовил высунуть голову в открытую дверь и гордился, что наш состав перегоняет все встречные казачьи подводы.

Дорога обогатила мой жизненный опыт: тайком от теток я начал курить и научился сплевывать сквозь зубы, как один мальчишка на станции.

Новочеркасск поразил меня своим великолепием. Улицы у нас в Тишанской станице густо заросли «калачиками», которые мы объедали не хуже поросят; здесь же вокзальная площадь блестела голубым отполированным булыжником, и на ней вытянулось с полдюжины пролеток: извозчики в порыжелых шляпах ждали пассажиров. Все дома вокруг были каменные, крытые железом, а многие даже двухэтажные. Высоко на горе ослепительно блистал златоглавый купол огромного кафедрального собора, и мне показалось, что там ярится само солнце. На главной улице не было ни одной собаки. Сунув руки в карманы, я важно прохаживался по гладким каменным дорожкам – тротуарам – и не косился на подворотни. Вот это городище! Наверно, больше его и во всем мире нету.

Осмотреться как следует в Новочеркасске я не успел: заразился сыпным тифом, затем тут же брюшным и, наконец, возвратным. Из больницы я выбрался месяца четыре спустя, переставляя ноги как чужие. После выздоровления у меня еще сильнее стали виться волосы и появился собачий аппетит. В январе 1920 года на кронштейне атаманского дворца навсегда спустился казачий штандарт: город взяла красная конница. Все подорожало. Тетки объявили, что им нечем кормить такую прожорливую ораву – пусть об этом позаботится новая власть. Они отдали моих сестер в приют бывшего епархиального училища, а меня с братом Владимиром – в интернат имени рабочего Петра Алексеева.

Помещался интернат на Дворцовой площади в трех зданиях бывшей Петровской гимназии, и заведовала им сама основательница мадам Петрова – высокая седая женщина, такая важная, что я сперва принял ее за великую княгиню, портрет которой еще дома, в станице, видел на картинке в журнале «Нива». Едва пришли в интернат, брат сразу отправился в библиотеку.

Я остался один в большой комнате, раньше служившей рекреационным залом. Разношерстная толпа воспитанников с хохотом играла в чехарду. Некоторые носили мундиры с блестящими гербовыми пуговицами и ругались по-французски. Передо мной остановился плотный широкогрудый подросток с прямым взглядом смелых черных глаз, в синих казацких шароварах и желтых сапогах с подковками. Над его нешироким загорелым лбом торчком стоял черный густой чуб; левая щека темнела шрамом.

– Гля, пацан, что это у тебя? – громко спросил он меня.

– Где?

Он ткнул пальцем в синюю пуговку на моей рубаше. Я с деревенской наивностью нагнул голову посмотреть, что произошло с пуговкой, и тут подросток ловко и больно ухватил меня за нос и дернул книзу.

– Во субчик. Чего кланяешься?

Ребята вокруг захохотали. Подросток выпятил нижнюю дерзкую губу, поднял к груди кулаки, ожидая, не кинусь ли я драться. От волнения я вдруг ослабел и вынужден был прислониться к стене.

– Ты чего это... такой белый? – несколько озадаченно спросил он.

– Тифом болел. Еще не поправился.

Подросток смутился. Неожиданно он дружески полуобнял меня:

– Ну... не обижайся, пацан, ладно? Давай познакомимся, – и сердечно протянул мне смуглую крепкую руку. – Володька Сосна. А ты чей?

Я назвал.

– Знаешь что, Авдеша, сыграем в айданы? И Володька Сосна достал из кармана горсть крашенных бараньих костей из коленных суставов. Видно, он хотел чем-то показать свое расположение.

Дома в станице я довольно сносно стрелял из рогатки, гонял чекухой деревянные шары, но айданов у нас не было, и я смущенно в этом признался.

– Не умеешь играть? – изумленно спросил Володька и посмотрел на меня с таким видом, точно я был умственно отсталый. – Во дикари живут у вас на Хопре! Айда на улицу, обучу.

Игра напоминала бабки: в ней так же ставился кон, и по нему били залитой свинцом сачкой. Наловчился я довольно быстро. Весь интернат имени рабочего Петра Алексеева увлекался айданами, и среди воспитанников они расценивались наравне с деньгами и порциями хлеба.

– О, да ты настоящий парень, – хлопнул меня по плечу Володька Сосна после того, как я выменял за новый карандаш десяток айданов, которые тут же и спустил своему учителю. – Хочешь дружить? После обеда сходим к нам, покажу тебе дрозда в клетке, разговаривает похлеще попугая.

Оказывается, Володька не был казеннокоштным, как мы с братом, а ночевал дома. Его отчим и мать играли в малороссийской труппе у нас в городе, в Александровском саду; он обещал бесплатно сводить меня на спектакль.

Под вечер я пошел с ним на Ратную улицу смотреть дрозда в клетке. От низкого слепящего солнца зеленые пирамидальные тополя казались облитыми глазурью; по остывающим плитам тротуаров прыгали кузнечики. Володька взбежал на крыльцо одноэтажного дома с зелеными поднятыми жалюзи, увитого по стенам диким виноградом. На пороге комнаты, капризно вытянув красивые ноги в шелковых чулках, сидела гибкая, нарядная женщина с ярко крашенными губами. Худощавый, гладко выбритый мужчина в расшитой украинской сорочке без пояса, в кавалерийских галифе и козловых чувяках, пытался ее поднять.

– Хватит дурить, Полина. Маленькая?

– Вот поцелуй, тогда встану! Я оторопел: может, повернуть обратно? Володька легонько подтолкнул меня в плечо.

– Мама, я товарища привел. Чего бы нам поесть? Я первый раз в жизни видел артистов. Вот они какие! Неужто они ссорятся, как самые обыкновенные люди?

Сосновская мельком, спокойно оглядела меня черными подведенными глазами. Черные короткие волосы ее открывали смуглую шею, украшенную крупными янтарными монистами.

– Там я оставила тебе на столе. И, словно забыв о нас, Сосновская вновь сложила на груди руки; ее капризный взгляд, яркие надутые губы, вся ребячливая поза выражали готовность просидеть на пороге хоть до утра.

– Что это, Володька, – шепотом спросил я, когда мы вдвоем закрылись в тесной грязной кухне, заставленной невымытой посудой. – Отчим разобидел твою маханшу?

– Психует, – хладнокровно ответил он. – Дядя Иван мужик мировой, у Боженко в отряде воевал. На сцене он играет не так уж чтобы очень, зато пляшет – я те дам! Ну, давай наворачивай.

Он подал мне ломоть хлеба, намазанный чем-то черным и крупитчатым, похожим на подгоревшую гречневую кашу. Я откусил: во рту стало солоно, запахло рыбой. «Во какую муру артисты едят», – подумал я. Лишь впоследствии я узнал, что бутерброд был с паюсной икрой

– Скоро в гимназию, – жуя, сказал Володька. – Тебя еще не записывали? Когда учитель спросит, в какой хочешь класс, скажи, в пятый, ладно? Сядем на одну парту.

Я живо управился с бутербродом и про себя решил, что не мешало бы его закусить печеной картошкой или хотя бы вареным кукурузным початком

– Во придумал! – засмеялся я, вытирая рот. – Как же я сяду в пятый, да еще в гимназии? У нас в Тишанке я кончил всего два класса церковноприходского училища, а в Новочеркасске только поступил, да заболел тифом. Тебе сколько? Четырнадцать? А мне только осенью одиннадцать стукнет.

– Ну и что? – удивился Володька. – Подумаешь, двух классов не хватает! Теперь не царский режим. Каждый ученик имеет право садиться в какой захочет. Да ты учить уроки, что ль, собираешься в гимназии?

Теперь удивился я:

– Чай, не в айданы играть!

– Ну и темнота станичная! – воскликнул Володька с досадой. – Да кто же сейчас об уроках думает? Ты рассуждаешь прямо как... Магомет из Библии. Нам, всем ученикам, надо отвоевать у директора гимназии свое право на равноправие. Понял? Словом, сядешь в пятый класс, я это устрою. Хочешь еще вареный початок?

Он будто угадал мои мечты. Початок интересовал меня гораздо больше, чем школа, и я перестал спорить, в какой класс записываться. От Сосновских я ушел с плотно набитым животом, так и забыв поглядеть на говорливого дрозда.

Гимназия помещалась на втором этаже нашего же интерната, как раз над моей спальней. Мы даже не заходили с Володькой в канцелярию, а утром первого сентября, когда начались занятия, он просто привел меня в пятый класс и посадил за свою парту.

– Знаешь, – объяснил он мне, – в этих канцеляриях такие волокитчики сидят, что лучше их всегда обходить. По-революционному.

Первым был урок французского языка. Преподавательница – еще молодая, довольно полная, в широкой канареечной кофте с огромными пуговицами и в туфлях на высоких каблуках – громко, звучно скачала ученикам несколько непонятных для меня слов и улыбнулась. Класс дружно ей что-то ответил, большая часть учеников встала. Я вопросительно поглядел на Володьку. Он, развалясь, сидел за партой и небрежно бросил мне:

– Буза. Поздоровалась на своем буржуйском языке.

Француженка медленно прошла между партами, ласково кивая знакомым ученикам. Кожа лица у нее была нежная, голову венчала искусно уложенная коса из блестящих золотисто-белокурых волос, голубые глаза смотрели доброжелательно; от нее внятно и сладко пахло духами. Француженка остановилась возле круглоносенькой девочки в форменном коричневом платье с пелеринкой, о чем-то спросила и, выслушав ответ, благосклонно кивнула ей. Краснощекий стриженный гимназист указал ей на меня:

– Вот новенький.

Это наконец было сказано по-русски, и преподавательница укоризненно покачала головой. Она подошла к нашей парте, что-то приветливо мне сказала и поощрительно и ожидающе уставилась в глаза. Я весь вспотел и поглядел на Володьку. Сзади послышалось хихиканье.

– Что же вы не отвечаете? – удивленно спросила меня преподавательница уже по-русски.

Я не знал, что отвечать, уши у меня горели. Один из гимназистов самоуверенный, лошечный, упитанный, в новом мундире, с белыми, гладко расчесанными волосами – весело кинул:

– Он глухонемой.

С парт послышался откровенный смех. Володька Сосна неразборчиво шепнул мне:

– Спраш-в-ет, как т-бя звать. От-вечай: же ма пель Авд-ев.

– Как? – переспросил я. – Ма... дель?

– Жжж ма пшш-ель, – прошипел Володька еще тише.

Учительница стукнула карандашом о парту:

– Сосновский! Разговорчики!

Мне очень хотелось стать сразу учеником пятого класса гимназии. Я поборол свою застенчивость, встал, вытянул вспотевшие руки по швам и громко отчеканил:

– Извиняюсь. Зовусь мадамзель Авдеев.

Поклонился и сел.

Смех грянул такой, что задребезжали стекла, улыбнулась даже сама француженка. А тот же лошечный, белобрысый и белоглазый гимназист, выскочив из-за парты, сделал передо мной реверанс и, давясь хохотом, выкрикнул:

– Пардон, мадемуазель. Могу ли пригласить вас на паде-катр?

После этого в классе поднялось совсем что-то невообразимое. Напрасно преподавательница старалась навести порядок, стучала карандашом по столу. Я удивленно озирался по сторонам, не понимая, почему все словно взбесились. Володька Сосна показал белоглазому гимназисту кулак:

– Видал, Ложка? На перемене сперва со мной потанцуешь.

– Сос-но-овский! – укоризненно, в нос протянула француженка.

– А пускай этот офицерский сынок не нарывается, – запальчиво ответил ей Володька. – Мой товарищ Витя Авдеев не отвечает потому, что весной заболел всеми тифами сразу. А если он сирота, интернатский, то не может учиться в пятом классе гимназии? В другом городе он кончил четыре, только язык проходил немецкий. Ясно? Запишите его к нам в журнал.

– Что за тон, Сосновский? – вспыхнула преподавательница, и на щеках под ее глазами проступили красные пятна. – Одному вы подсказываете, другому грозите кулаком... не поздоровались, когда я вошла. Хотите, чтобы директрисе пожаловалась? Смотрите! Не то я вас попрошу оставить класс!

– Это вам не царская гимназия, а советская трудовая школа, – упрямо, с вызовом заговорил Володька. – Выгонять нас учителя не имеют права. Вот, может, еще в карцер посадите? Запишите в кондуит? Так это уже музейное прошлое. Кроме мадам Петровой, у нас есть еще школьный исполком. – Он вдруг достал из парты свою синюю капитанскую фуражку с золотым басоном и лаковым козырьком, насунул на лоб. – А выйти я и сам могу. Лучше в айданы играть, чем слушать этот буржуйский язык. Оревуар – мордой в резервуар!

Учительница нервно закусила полную нижнюю губу. Неожиданно голубые глаза ее лукаво сощурились, она рассмеялась:

– На этом «буржуйском» языке, между прочим, разговаривали первые в мире коммунары. Вся Россия сейчас поет «Интернационал», но известно ли вам, что его написал француз Эжен Потье? Ваша мать, Сосновский, известная всему городу артистка, а вы... Придется вызвать Полину Васильевну и поговорить о вашем поведении...

Лицо Володьки отобразило замешательство, и классную дверь за собой он закрыл очень тихо.

На перемене, когда все высыпали во двор, я почувствовал полное отчуждение к себе мундирных гимназистов. И пусть. Я решил больше не возвращаться в этот класс: ну его к черту, лучше сяду в третий. Тут ко мне подошел Володька Сосна, веселый, с полной пригоршней выигранных айданов. Он решительно взял меня за руку, растолкал толпу пятиклассников,

среди которых стоял Логинов – упитанный белобрысый гимназист, кривлявшийся передо мной в классе.

– Вот он, – указал мне на него Володька. – Стукайтесь. А ну, пацаны, раздай круг! Не дрейфь, Витька, волохай его, а если на тебя кто налетит сзади, я заступлюсь. С тобой мы против всего класса выстоим.

Я уже видел, как Володька один выстоял против класса, насчет себя ж сильно сомневался. Несчастье мое заключалось в том, что я был маловат ростом и еще не совсем оправился от болезни. Поэтому в стычках, – а их не мог избежать ни один воспитанник, как бы смирен ни был, – чаще попадало мне, отчего я и не любил драться. Логинов был выше меня на целую голову, толще, но ничего другого делать не оставалось, иначе прослывешь трусом, а тогда всякий безнаказанно станет давать зуботычины.

«Хоть бы не очень морду набил», – без всякой надежды подумал я, вышел в круг и неуверенно подсучил рукава. Надо было заводить ссору; месяц, проведенный в интернате, научил меня разным приемам.

– Задаешься? – сказал я, стараясь, однако, держаться подальше от своего противника. – Сильный?

Я сплюнул на землю и, показав пальцем на мокроту, повторил одеревеневшими губами:

– Сильный? А ну подыми.

За этим «разгоном» должна была последовать схватка. Однако Логинов, увидев такие приготовления, сразу потерял свой румянец, снял передо мной форменный картуз без герба, торопливо заговорил:

– Извините, товарищ Авдеев, если я вас оскорбил; конечно, вы можете меня ударить... но я, честное слово, больше не позволю себе...

Голос его дрожал. Я сразу выпятил грудь и важно отставил ногу.

– Сдрейфил, Ложка? – закричал Володька. – Увиливаешь? Нет, расплачивайся своей мордой.

Я испугался, что Логинов передумает, и поспешно сказал:

– Ладно, Володя. Я его прощаю, Володя. Пускай гуляет... и в другой раз не нарываемся.

Сторож дал звонок, ребята побежали в классы. Во мне все еще тряслось от волнения, я сел на лавочку под окном нашей палаты, достал кусок подсолнечной макухи, но укусить не мог и лишь стучал по нему зубами.

– Чего же ты? – удивленно закричал Володька. – Айда скорей, а то учитель не пустит. На большой перемене будут давать бутерброды с брынзой. Я был в канцелярии: уже нарезали.

Это меняло дело. Володька обнял меня за плечо, я сунул макуху в карман, и мы рысью пустились в класс.

Мундирные гимназисты перестали надо мной смеяться, а на следующей перемене Логинов услужливо развернул перед нами свой завтрак – французскую булку с двумя котлетками, кусок пастилы, любезно ослабил:

– Не угодно ль?

– Что это? – спросил Володька. – А! Толково!

Он забрал у гимназиста весь завтрак целиком, и мы его съели.

Уж потом я узнал, что Логинов испугался совсем не меня, а интернатских ребят. Вход в Петровскую гимназию был рядом с нашим двором, и он боялся, как бы Володька Сосна с моими товарищами не избил его за меня. Когда год спустя Логинова исключили из трудовой школы, и я его встретил вечером на Московской улице возле кинематографа «Солей», он со словами «а, пролетарская мамзель» дал мне подножку, и я полетел затылком на тротуар. На этом наше знакомство с ним и закончилось. Но тогда, в день поступления в гимназию, я счел, что он меня испугался, и очень приободрился. Мне показалось, что я так же легко могу преодолеть и непонятную науку пятого класса.

Я стал заниматься, только с передней парты пересел на «Камчатку». Однако с первых же уроков безнадежно увяз положительно во всех предметах. Напрасно я пытался отгадать, что такое «икс» и «игрек» и кто из них больше? Как понять слова: «фонетика и морфология русского языка»? Что означают мудреные названия: «климат, ландшафт Африки»? Или «муссоны»? Правда, угрызения совести недолго меня мучили. На задней парте собралась уютная компания лоботрясов. Во время уроков мы осторожно играли в перышки под щелчки, дергали девочек за косы, стреляли из камышовых трубок горохом, жеваной бумагой, переговаривались пальцами с помощью азбуки глухонемых; я, кроме того, еще рисовал. Мы всячески старались не мешать учителям, заботясь о том, чтобы и они нам поменьше мешали.

Основное, чем я занимался в эту осень, – играл в айданы, выменивая их на пайки хлеба, на сахар и вторые обеденные блюда. Другим моим увлечением были марки. Каждый пятый воспитанник гимназии мадам Петровой оказался филателистом. По вечерам в палатах шла бойкая торговля: марки Конго меняли на марки Португалии, за кокосовые пальмы Тасмании охотно давали голову императора Франца-Иосифа и какой-то итальянский монастырь. Денег на альбом у меня, конечно, не было, но я пустил под него все ученические тетради, сшив их суровой ниткой. Альбом получился роскошный, хотя после этого писать в классе мне стало решительно не на чем.

Цену маркам я не знал, считая, что чем они больше по размеру, тем дороже. Гимназисты старших классов отлично это поняли. Был у нас великовозрастник Вячеслав Рогачевский. Он брил усики, открыто курил папиросы, носил американские ботинки с обмотками, что в интернате считалось высшим шиком, и ухаживал за кокетливыми соседками – воспитанницами Смольного института благородных девиц, эвакуированного в Новочеркасск из Петрограда.

Рогачевский частенько останавливал меня на улице, дружески клал руку на плечо:

– Ну, как твоя коллекция?

– Сорок семь штук набрал. Вчера добыл польскую: нарисован какой-то генерал в этой... как ее... в кондратке.

– В конфедератке? – Рогачевский делал глубокомысленное лицо, одобрительно кивал мне мужественно очерченным подбородком. – Молодчага, Авдеша. Ты, брат, делаешь колоссальные успехи и скоро станешь видным филателистом.

Я надувался от самодовольства. Ведь это говорил сам Рогачевский, а его коллекция лучшая в интернате – две тысячи марок всевозможных стран!

– Раз ты уж такой знаток, я тебе кое-что покажу. – Гимназист доверительно вынимал из кармана портмоне, открывал. – Есть марка – высший класс! Случайно купил у одного знакомого в городе. – Рогачевский снижал голос до шепота. Понимаешь, отец его, казачий есаул, один из бывших приближенных донского наказного атамана, бежал к барону Врангелю в Крым, сынок и распродает свою коллекцию. Смотри. Юби-лей-на-я!

И он показывал мне обыкновенную русскую марку с изображением одного из наших многочисленных царей, но крупную по размеру. Разум во мне сразу мутился, и всего меня охватывало страстное желание во что бы то ни стало приобрести эту марку. Ведь она юби-лей-на-я! Что означало это слово – я не знал, и это меня еще больше подстегивало.

– А не променяешь мне ее, Слав? – спрашивал я, с жадностью рассматривая марку, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения.

– Что ты, дружок. Таких только две во всем Новочеркасске. Я ведь тебе показываю просто так. Знаю: серьезный филателист.

После этого меня с затылка до пяток продирали мурашки, похожие на нервный зуд.

– Ну... уступи, а? Жалко? Ты себе еще достанешь у того офицерского сынка. Мне марка очень нравится.

– Право, не знаю. Она дорогая. – Рогачевский осторожно, словно лепесток розы, вынимал из портмоне другую марку. – Вот еще одна. Мировая. Остров Борнео. Видишь, обезьяны на банановом дереве? Зеленые. Да, брат, в России у нас такой и не ищи! На вес золота ценится!

У меня начинали разбегаться глаза.

– Так продай, Слав, хоть юбилейную. Я тебе... три дня за обедом буду второе отдавать.

– Гм. Разве уж только для тебя. Коллекционер ты – подающий большие надежды. Эх, была не была! В таком случае, на, держи и Борнео... еще за три вторых. А большущая марка, верно? Главное: две обезьяны.

Марки переходили в мои трясущиеся руки. Я зажимал их в ладони, точно голубей, и во весь дух несся, чтобы наклеить в своей «альбом». Почти целую неделю после этого я хлебал пустой суп, в котором, как говорили у нас в интернате, «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой».

Старший мой брат беспокоился, что я никак не поправляюсь после тифа. Он учился в седьмом классе гимназии и был выбран членом хозяйственной комиссии. В дни дежурства на кухне он подживался то косточкой, обильно выложенной мясом, то тарелкой щей «для пробы», то «довеском» хлеба в добрые полфунта и поэтому отдавал мне свою пайку. Возможно, я и этот хлеб пустил бы на марки и айданы, но брат, отлично зная о моих страстишках, заставлял есть его тут же, при нем.

Когда я ходил в дом к Володьке Сосне, то наедался там кукурузными початками.

В конце сентября Володька повел меня бесплатно в Александровский сад; здесь в летнем дощатом театре шли спектакли труппы. Шершавая афиша, наклеенная на высокую круглую тумбу, красными аршинными буквами извещала:

МАРУСЯ БОГУСЛАВСКА

Драма в 5-ти актах.

В главной роли П. В. Яснопольская

Капельдинер отвел нам с Володькой пустовавшие деревянные кресла. «Во как буржуи веселились», – внутренне ахал я, разглядывая зажженную люстру под некрашеным потолком. Дали третий звонок, грязно-зеленый занавес дрогнул, раздвинулся. Сидя в полутемном партере, я с замиранием сердца следил за горькой судьбой красивой полонянки – наложницы паши. Жиденький оркестр, шумное действие на сцене, потертые костюмы запорожцев, янычар – все казалось мне волшебным.

В антракте мы с Володькой пошли за кулисы. В голой тесной комнатке перед треснувшим зеркалом сидела черноволосая артистка в цветистом, изрядно потрепанном костюме турчанки и устало курила папиросу.

Она повернула свое грубо размалеванное лицо, и я обомлел: передо мной была сама Маруся Богуславска.

– Мам, дай денег на ситро, – попросил у нее Володька.

– Тебе все мороженое да ситро, – усмехнулась артистка, лениво выпустив колечко дыма. – Сперва ответь, как учишься? Меня сегодня встретила мадам Петрова, так я чуть со стыда не сгорела. Оказывается, ты хулиганишь на уроках французского...

– Хулиганишь! Сейчас свобода. Что я, должен сидеть как замороженный? Так дашь? – Мадам Петрова еще говорила, что ты и ботанику не учишь... вообще неаккуратно посещаешь гимназию. В свинопасы захотел?

Я не мог прийти в себя от изумления. Неужто Маруся Богуславска Володькина маханша? И это она сидела наместни на пороге своей квартиры и дула губы, прося, чтобы ее поцеловал муж? Как она может так «оборачиваться»? И волосья другие, и голос, и платье, и даже фамилия. «Как ведьма!»

Яснопольская вздохнула, сунула окурок папиросы в баночку и стала размазывать по лицу грим, видно позабыв о нас. Володька присел на свободное кресло, перекинул ногу в желтом сапоге через подлокотник.

– Я уже тебе объяснял, – заговорил он, – зачем мне сдались эти «пассе композе»? – И Володька что-то прогундосил по-французски, передразнивая учительницу. – Или вот черчение будут преподавать в старших классах. Что мне с ним делать? Я вырасту, стану, как дядя Иван, командиром и сам сумею на скаку с коня чертить шашкой! Понавыдумывали буржуи разных наук, а из них и половина не нужна в жизни. Ученики должны устраивать собрания, порядок наводить...

Занятая гримом, Яснопольская не слушала сына. Зато ни одно его слово не пропустил незаметно вошедший актер в красном коленкором запорожском жупане, с бутафорской, грубо посеребренной саблей. Я, несмотря на приклеенные усищи, узнал Володькиного отчима, ткнул под бок своего приятеля.

– Что же ты умолк? – насмешливо улыбнулся пасынку дядя Иван и потрепал его за чуб. – Давай ораторствуй. Значит, по-твоему, нашей молодежи наука не нужна?

– Я не за всю науку говорил, – буркнул Володька. – За половину.

– Половину разрешаешь? – вновь едко засмеялся дядя Иван. – Эх ты... реформатор! А известно ли тебе, что, например, без того же черчения нельзя ни одну машину построить? Скажем, танк? Из чего ты будешь в белопогонников стрелять? Нет, друзья, зубрите «буржуйские премудрости», а о революционном порядке мы, взрослые, как-нибудь сами позаботимся. – Он подошел к жене. Полина, доню, второй звонок дали. Сейчас твой выход.

Получив на ситро, мы ушли из театральной уборной.

– Насчет наук ты, Володька, правильно загнул маханше, – одобрительно сказал я товарищу. – Ну вот учил я, учил географию, а чего вызнал? Что в Южной Америке живут разные там плантаторы и... крокодилы? Так это надо собрать побольше марок, и узнаешь. На острове Борнео, например, есть зеленые обезьяны, это я сам свидетель. На банановых деревьях сидят. А для чего, скажи, мне нужна алгебра и значок «икс»? Прямо смешно. Может, они научат меня в айданы играть без промаха? Или раздобыть лишнюю пайку хлеба?

К зиме в Новочеркасске начал ощущаться голод. Богатое казачество гноило пшеницу, рожь в ямах. Кормить нас в интернате стали гораздо хуже. В гимназию я ходил все реже: бутерброды с брынзой давать перестали, что там еще делать? Корпеть над скучными непонятными предметами? Здорово нужно! Из французского языка я, например, за всю учебу обогатился лишь Володькиными поговорками: «Оревуар – мордой в резервуар», «Комо ву зо плеу? Корову запрягу?», «Кис кесе? Лежит дура на кесе». Аккуратно я посещал одни уроки рисования. Бумаги не было, и рисовать чаще приходилось мелом на доске. Между прочим, я оставил память и в классе: перочинным ножом фигурно вырезал на своей парте собственные инициалы: «В. А.». Все ребята любовались моей работой.

Перед Новым годом на школьном педсовете поставили вопрос о том, что из-за моей дикой малограмотности задерживается вся группа. Меня надо или подтянуть, или перевести ниже. Вообще, как я мог попасть в пятый класс? Я получил месяц срока, чтобы догнать товарищей, и еще азартней начал играть в айданы, Однако педагогам скоро стало не до меня. Гимназию не отапливали, продуктовые пайки все урезали, «математик» и учитель пения бросили

работу. Я почти не посещал школу, и часто на уроках, особенно французского языка, на парте присутствовали одни мои фигурные инициалы.

Январские морозы приковали интернатцев к спальням: внутри на оконных рамах солью выступил иней, вырос лед, ребята сидели по кроватям, закутавшись о одеяла. Уже с осени мы по ночам стали ломать соседние заборы, калитки. Городские обыватели на всех углах поносили «приютскую шпану», подстерегали нас с дрекольем в подворотнях, где и разыгрывались настоящие сражения. К зиме все, что могли принять наши прожорливые чугунные печурки – «буржуйки», было давно сожжено, а доставать топливо становилось все труднее.

Однажды студенкой крещенской ночью мы задумались, чем же теперь нам обогреть палату. В палате у нас ночевал Володька Сосна вместе с меньшим братом Витькой, моим тезкой; родители их уехали на сезонные гастроли в Самару, и они временно жили в интернате.

– Давайте залезем наверх в гимназию, – предложил Володька, кивнув на потолок. – Возьмем какую-нибудь парту и сожжем.

– Ишь умник... наизнанку! – сказал мордатый хозкомовец. – Как же ты залезешь, когда дверь заперта? Может, у тебя отмычка есть?

– Через окно в нашем классе. У нас форточка без задвижки, верно, Витька?

Это была правда, и я кивнул.

– Нехорошо как-то, – сказал другой интернадец. – Топить таким делом... все-таки наука.

– О, – насмешливо присвистнул Володька. – «Наука»! Только что Священное писание сократили да букву «ять», а остальная программа как в царской гимназии. Вот добьют в Крыму беляков, небось и парты сделают особые... по советскому образцу. Мы с Витькой сами полезем.

Он поправил ремень и кивнул мне.

По коже у меня пробежали мурашки.

Черное январское небо смотрело зелеными ледяными иголками звезд, на площади за железной решеткой сквера неподвижно застыли облепленные инеем акации: казалось, они промерзли насквозь и от этого побелели. Под нашими ботинками визжал, гудел утоптаный снег. Мы с Володькой скинули шинели и по обледенелой водосточной трубе полезли на второй этаж. От недоедания и малокровия голые пальцы мои сразу озябли. Я с трудом карабкался вверх за Сосной, боясь глянуть на белую заснеженную землю, где осталось несколько ребят, с напряжением следивших за нами. Неожиданно Володька оборвался и, скатываясь вниз, обеими ногами стукнул меня по голове. Это помогло ему удержаться, а я, растопырив руки, словно подбитая ворона, полетел вниз и, по счастью, угодил в сугроб.

Отделался я больше испугом. При мысли, что вновь надо взбираться по мерзлой трубе, у меня закружилась голова; я сделал вид, что не могу подняться.

– Чего с тобой, Авдеша? – заботливо спросили ребята.

– Здорово... долбанулся. Наверно, кишки в животе отскочили.

Вместо меня в помощь Володьке послали другого парнишку. Они оба через форточку залезли в класс, открыли внутреннюю дверь прямо к нам в интернат. Когда по лестнице спустились парту, у меня тотчас перестала кружиться голова и кишки в животе улеглись на свое место.

Всем нам было очень весело рубить парту и растапливать ею «буржуйку». Я, как герой вечера, получил право подкладывать и, таким образом, сидеть около огня. Засовывая в жерло печки одну из досок, увидел сверху две фигурные буквы, вырезанные перочинным ножом: «В. А.». Я тихонько спросил у Володьки:

– Чья это парта?

– Наша, – ответил он беспечно. – Я хотел было взять у других, да раздумал: еще начнут разыскивать по гимназии, хай подымут. Мы ж с тобой сядем на свободную, а если спросят, скажем, что кто-то упер в соседний класс.

Объяснение меня вполне удовлетворило. Зима тянулась бесконечно, в марте еще вьюжило. валил мокрый липкий снег. Как-то в оттепель я от нечего делать забрел в гимназию. Шел урок французского языка. В классе отсырели потолки, валилась штукатурка, учеников стало меньше, и они сидели в бушлатах, пальтишках. Преподавательница, крест-накрест перевязанная шерстяным платком, держа в муфте озябшие руки, прохаживалась перед доской. Голову ее по-прежнему венчала тщательно уложенная коса из блестящих золотисто-белокурых волос, лицо осунулось, похудело, а голубые глаза казались еще больше. Она остановила взгляд на мне.

– Явле-ение!

Я был в широкой до пят шинели брата с форменными пуговицами, для тепла подпоясан грязным полотенцем. Неприметно шмыгнув носом, я сел сзади на пустую парту.

– Вы, Авдеев, хоть алфавит усвоили?

Какой там алфавит! Я и марки перестал собирать. забыл, как айданы выглядят: не на что было менять. Хлеба нам в интернате давали по осьмухе фунта^[1] в день – и то с перебоями.

– Я, мадам, буду держать переэкзаменовку. Конечно, я не пришел на выпускные испытания, Весной оперетка уехала на гастроли в Воронеж; вместе с труппой Новочеркасск покинули и Сосновские.

И когда в сентябре опять начались занятия, я пришел в третий класс и сел за первую парту. Над входом в гимназию теперь висела продолговатая вывеска с черными аршинными буквами, обведенными киноварью: «Единая трудовая школа».

БУТЕРБРОД С ПОВИДЛОМ

Познакомился я с этим пацаном в потемках под стульями кинотеатра «Патэ», куда пролез зайцем посмотреть американский боевик «В кровавом тумане», Наверно, и он тоже попал сюда без билета, и мы оказались соседями.

В середине фильма лента, как обычно, порвалась, ребята на передних рядах затопали ногами, стали свистеть, орать механику: «Сапожник! На помойку!» Мы давно вылезли из-под стульев и присоединили к общему возмущению свой справедливый протест. Неожиданно дали свет, контролерша поймала нас обоих за уши и вывела из зрительного зала.

Очутившись под лампой вестибюля, я на досуге разглядел своего соседа. Парнишка был костляв, как лещ, чуть пошире меня в плечах, повыше ростом. Одет, как и я, в нижнюю сорочку и женские панталоны вместо трусов, но щеголевато подпоясан солдатским ремнем. (Горисполком реквизировал излишки белья у бывших воспитанниц Смольного института благородных девиц и передал его нашему интернату.) Голова моего нового знакомого очень напоминала яйцо. Она была совершенно голая от избытка лишаев, а рот он имел такой большой, что свободно засовывал в него свой грязный кулак. Парнишка показал контролерше язык, движением отвислого живота подобрал штаны и, важно протянув мне руку, представился:

– Баба.

– Водяной, – ответил я.

– Твоя вывеска мне знакома, – сказал он, оглядев меня от свалывшегося темно-русого чуба до черных ногтей на босых, покрытых царапинами ногах. – Ты ведь живешь в интернате Петра Алексева? Вот и я с того же сиротского курятника.

Парнишку этого я не раз примечал в столовой, знал, что ночует он в другом корпусе. Мы внаглую поругали контролершу за то, что она выставила нас из «Патэ», грустно в последний раз полюбовались огромной афишей, висевшей у входа. На афише были изображены бандиты в масках, широкополых шляпах, с дымящимися револьверами, и лежала женщина, обильно залитая красной клеевой краской.

Свободного времени у нас с Бабой сейчас оказалось пропасть, и после короткого совещания мы решили «ловить кузнечиков» – собирать окурки. В Новочеркасске были всего две улицы, освещенные настолько сносно, что на них нельзя было, стукнувшись лбами, не узнать друг друга: Платовский проспект и Московская. Туда мы и отправились на промысел. Заметив на тротуаре окурков, мы с разбегу накрывали его панамой. Старшие воспитанники интерната, уже скоблившие Щеки осколком стекла, стыдились собирать «кузнечиков» открыто; после завтрака они отправлялись на прогулку, вооруженные кизилковыми стеками с булавкой на конце, и, поравнявшись с окурком, как бы нечаянно накальвали его и ловко совали в карман.

По дороге Баба открылся мне, что окурки он сортирует и меняет на обеды и огольцы уже не раз били его за то, что он подмешивает к табаку козий помет.

– Все, понимаешь, брюхо, – пояснял он, стукнув себя по вздутому, точно у клопа, животу. – Пихаю я в него что попало, и скажи, хоть бы заболело. А что пацаны волохают – плевать. Меня папашка-упокойник костью молотил – и как на собаке. Все заживает.

Оголец мне понравился. Наши взгляды на жизнь во многом совпадали. Мы оба на опыте убедились, что в интернате нет той свободы, которая объявлена по всей Советской России: воспитатели редко отпускают в город. Я бы, например, охотно пошлялся по улицам или поси- дел с удочкой на берегу зеленоводного Аксая. Баба всей душой рвался на Старый базар, где в мусорном ящике можно было найти всякую всячину, начиная от пуговицы и кончая селедочной головой.

В интернат мы вернулись запоздно, с карманами, набитыми окурками, и условились встретиться на другой день.

Утром, выпив из жестяной кружки пустой кипяток и закусив его тоненькой пайкой полу-сырого хлеба, мы встретились с Бабой на Дворцовой площади и уселись на ржавую ограду сквера у памятника атаману Платову. Айдамов у нас не было, и мы не могли присоединиться к играющим на панели воспитанникам. Впереди предстоял длинный июльский день. Чем его заполнить? Как бы от нечего делать мы стали по очереди сплевывать на куст отцветающего шиповника, и каждый старался переплюнуть другого: была затронута профессиональная гордость. Солнце напоминало огромную пылающую колючку, между тополями скапливалась жара; надо было чем-нибудь развлечься и забыть об урчании в животе. Неожиданно Баба спросил:

– А что, Водяной, шамать хочешь? Придумано было здорово, я равнодушно зевнул.

– Понятно, нет. Я в интернатском ресторане до того шоколадом объелся, что штаны на пузе лопаются. А ты, Баба, хотел бы сейчас занять новые ботинки? Или лучше: перочинный ножик?

– Я не треплюсь: что дашь за угощение? Пятьдесят «кузнечиков» дашь?

– Сто!

Меня разбирал смех. Мы ударили по рукам, и Баба хитро подмигнул; нет, с этим плешивым можно бесскучно коротать время. Глянув на тень от каштана, как на стрелку солнечных часов, Баба спрыгнул с решетки; воспитателя поблизости не было. Он подмигнул мне, я ответил утвердительным кивком, мы шмыгнули за памятник Платову и тихонько выбрались из сквера. Я был уверен, что мы идем за теми же «кузнечиками». Но, к удивлению, Баба не обращал на окурки никакого внимания и спешил так, точно его позвали обедать. На углу Московской и Комитетской он свернул в парадный подъезд огромного дома бывшего Офицерского собрания и стал взбираться по лестнице.

– Постой, да ты куда?

Он лишь ткнул большим пальцем на второй этаж. Перед белой крашеной дверью с надписью «Детский читальный зал» Баба остановился, заправил в свои девичьи панталоны нижнюю бязевую рубаху с приютским клеймом на спине и важно надул щеки. (Верхнюю рубаху и длинные штаны в интернате давали только старшим воспитанникам.) Я нерешительно переступил за ним порог.

Всю большую светлую комнату занимали черные лакированные столики, деревянные кресла с твердыми спинками. Десятка три долговязых подростков, клевавших носом перед раскрытыми книжками, оглядели нас не совсем дружелюбно. Баба, не смущаясь, прошел к ореховой конторке, из-за которой по грудь виднелась невысокая миловидная библиотекарьша в строгом шерстяном коричневом платье с высоким стоячим воротом. Молодое скуластое матовое лицо ее прикрывали очень пышные каштановые волосы, небольшие желтоватые глаза, поставленные чуть косо, смотрели удивительно мягко, добросердечно. За спиной библиотекарши потолок подпирали крашеные полки, и на них стояла такая пропасть книг, что я не смог бы их сосчитать,

– А я опять к вам, – заулыбался Баба с таким видом, словно все были до смерти рады его приходу. – Очень мне это дело понравилось, хочу стать ученым читателем. Дайте мне еще какой-нибудь томник.

Он важно покосился на меня. Библиотекарша, скрывая улыбку, выдала ему книгу и обратилась ко мне:

– Что тебе, мальчик? Ты у нас записан? Я растерялся: мне ничего не было надо, и записываться сюда совсем не собирался, но Баба уже слащаво подхватил:

– Покамест не записан, ну да это ничего, запишите: Витя Авдеев, я его знаю. Он в речке ныряет прямо как водяной. Обожает печатные сочинения и пристал ко мне: приведи его в читальню да приведи. Вы не бойтесь, он честный, как и я, книжек воровать не будет.

Я вынужден был утвердительно кивнуть головой. Взяв книги, мы прошли с Бабой в самый дальний угол и сели у открытого окна спиной к залу.

– Открой роман, – скомандовал он.

Я открыл книгу и тихонько показал ему кулак:

– Зачем ты меня сюда завел? Что тут делать?

– А чего хочешь. Хоть... спи.

О том, зачем берутся книги, я и без Бабы знал. Еще в станице моя тетка, всякий раз собираясь часок вздремнуть, непременно брала с собой в кровать книжку. Я же не имел привычки спать днем, и поэтому в книжках не нуждался. Библиотека дома у нас была весьма тощая: «История Ветхого завета», брошюрки о житии святых, и когда меня заставляли читать, я без конца зевал. Единственная книжка, которую я запомнил из детских лет, – роман «Юрий Милославский». Баба же вообще был совершенно неграмотен, это я видел отлично. Взяв книгу, он долго не решался, за какой конец ее держать, чтобы буквы не очутились в положении повешенных за ноги, и поспешил отыскать картинку.

– Эту богодельню я открыл случайно, – начал он объяснять. – Я ловил «кузнечиков», а в этом деле, сам знаешь, и мусорную яму обворуешь, и подворотню обнюхаешь, и какого дядьку, что сигару, сволочь, курит, полверсты проводишь, пока он охнарик бросит. А тут я гляжу – очкарь в трусиках, под второй этаж ростом, заворачивает в этот дом, а во рту папироса «Экселянс» с золотой маркой. Ну я, натурально, следом; он еще и половины не искурил, а ведь в учреждениях-то не с руки дымить, фактура, что выкинет папироску. Так и вышло. Только подобрал я «кузнечика», из той же двери девчонка вылезает с куском хлеба. Прикинул я: дай-ка загляну, может, и мне дадут.

– По шее? – съязвил я.

Вместо ответа Баба ткнул меня кулаком в бок, прошипел сквозь зубы:

– В книжку... сунь морду в книжку, а то я хоть и не коновал, а выну тебе зубы.

Сам он умильно уставился в книгу и стал шлепать губами так, точно все не мог прожевать какое-то слово. От удивления я разинул рот и забыл ответить ему ударом кулака. Внезапно позади нас раздался приветливый женский голос:

– Ребятки, получайте бутерброды.

За нашей спиной стояла миловидная пышноволосяя библиотекарша, в руках она держала поднос с ломтями кукурузного хлеба, намазанного яблочным повидлом. Не оглядываясь, Баба еще усиленнее зашлепал губами и обеими руками вцепился в книгу, словно боялся, что она улетит в открытое окно, и только ноздри его хищно раздулись. Библиотекарше пришлось еще раз повторить ему приглашение, и тогда, словно очнувшись, Баба повернулся и галантно хлопнул ладонью по книге.

– Ах, это вы? А я зачитался: очень завлекательное сочинение.

Он с ужимками выбрал ломоть побольше, сказал «мерси» и деликатно стал его грызть, хотя мог бы всунуть в рот вместе с рукой. Я тоже нерешительно взял бутерброд. Библиотекарша, обдав нас теплом своих добрых, косо поставленных глаз, перешла к следующему столу.

– А теперь наверх, – сказал Баба. Он отодвинул книгу, я сделал то же самое, и мы стали с удовольствием есть бутерброды и болтать ногами.

Внизу лениво растянулась Московская улица, полуприкрытая фиолетовыми тенями пирамидальных тополей. На углу дремал кофейно-темный айсор в красной феске; разноцветные баночки с кремом, сапожные щетки, алая бархотка пылали под яростными лучами солнца. Баба подмигнул в сторону библиотекарши:

– Во дура, а? Мечтает, что мы сюда притопали из-за ее книжных собраниев.

Я оглянулся: у ореховой конторки толпилась длинная очередь сдававших книги – долго-вязые подростки в отглаженных брюках и девочки с браслетами на смуглых руках покидали читальный зал.

Когда и мы вышли на знойную улицу, Баба легонько стукнул меня по животу:

– Отъелся? Гляди ж, сто «кузнечиков» ты забожился. Махру принимать не буду, понял?

Вспоминать о долге мне было неприятно, но я мысленно прикинул, сколько могу получить в читальне бутербродов, и не особенно обиделся.

– Вот еще что, Водяной: не заливай пацанам о читальне, а то если налетит интернатская шатия, нам ничего не останется.

Я поклялся молчать и вечером же рассказал все старшему брату. Однако брат помогал завхозу и подживался в кладовке; книги же он получал на дом по абонементу из городской библиотеки.

В конце недели Бабу выгнали из читальни за воровство книжки. Кто-то сказал ему, что «Три мушкетера» Дюма дорого ценятся на толкучем рынке, и он стянул «Определитель насекомых», решив, что нарисованные на обложке три мухи по-научному и называется «мушкетеры». После этого случая я сообразил, что иногда на честности можно больше заработать, чем на воровстве, и еще аккуратней стал посещать читальный зал.

Как все новички, я был полон робости перед его правилами: чтобы не опоздать – являлся пораньше, чтобы не затруднять библиотекаршу – брал первую попавшую книжку. Усевшись у окна, я потихоньку зевал в руку и время от времени переворачивал страницы, терпеливо дожидаясь своего бутерброда. Но и съев его, не уходил сразу: боялся, что и меня выгонят. Подобно всем лентяям, я старался лишь о том, чтобы остаться незамеченным, и это-то и обратило на меня внимание.

Однажды, сдав книгу, я уже собрался уходить, когда библиотекарша неожиданно положила на мою далеко не чистую руку свою теплую ладонь.

– Ну как, Витя, понравилась тебе книжка? – ласково спросила она

– Ничего, – ответил я, стараясь припомнить заглавие.

– Я вижу, что ты очень скромный и серьезный мальчик и много читаешь. Правда?

Я смутился. Библиотекарша облокотилась на ореховую конторку, доброжелательно приблизила ко мне свое миловидное скуластое лицо; от ее густых волос исходил тонкий и маслянистый дух – так пахнут расколотые грецкие орехи.

– Я ведь наблюдаю за всеми ребятами, многие из них балуются, перебрасываются записками, а ты всегда сидишь отдельно, чтобы не мешали. Большинство, лишь только получают бутерброды, сразу уходят, ты же остаешься еще надолго и вообще так увлекаешься книжками, что тебя надо окликать два раза, чтобы ты покушал.

Я совсем потупился. Бутерброды с подноса я действительно брал не сразу, делая вид, словно не замечаю их: это была «школа» Бабы.

– И потом, – продолжала библиотекарша, – все ребята спрашивают приключенческие романы, тебя же интересует буквально все: и статьи о разгроме интервентов, и мемуары дипломатов, и даже... брошюры по уходу за йоркширскими свиньями. Но удивительнее всего быстрота, с которой ты, Витя, читаешь: больше дня ты не держишь ни одной книги. Я уже передавала заведующей, что к нам записался очень интересный мальчик. Только не находишь ли ты, что вкус твой несколько... сумбурен и что тебе надо... немножечко поменьше читать?

Я не знал, как можно читать еще меньше, и опять промолчал.

– Понимаешь, Витя, в твоём возрасте такое чтение не очень полезно. Давай я сама буду подбирать для тебя книги. Ладно? Значит, будем друзьями, и не хмурься: какой ты застенчивый. – И она, смеясь, пожала мне руку, как будто я был уже взрослый.

– Ну, мне пора в интернат, до свидания.

Она не выпускала моей измазанной руки. Удивительная была эта библиотечка: молодая, а заботливая. Казалось, она только и думала о том, кому бы еще сделать что-нибудь приятное. Улыбка ее неярких губ была ободряющей, мягкой, грудной смех – тихим, необидным.

– Какой ты, Витя, замкнутый. Знаешь что? Мне кажется, что тебе пора уже вырабатывать в себе ораторский слог. Как знать, с такой любовью к литературе ты, может, потом сам сделаешься профессором, а то и писателем. Теперь Советская власть открыла широкий доступ к просвещению для бедных сирот, как ты. В стране разруха, голод, а вам, детям, дают вот в читальне хлеб. Хочешь, я буду с тобой заниматься? Каждую прочитанную книгу ты станешь рассказывать мне, и мы вместе ее разберем. Увидишь – это тебе понравится.

Я думал как раз наоборот, но высказать этого не решился.

Узнав, что я круглый сирота, библиотечка стала угощать меня отборными бутербродами с повидлом. Но ожидать их зачастую приходилось слишком долго. Невольно мой блуждающий взгляд останавливался на книжке, и я пробегал ее, пропуская целые главы. Все-таки это как-то развлекало; кроме того, я мог ответить библиотечке, про что в ней написано. Понемногу меня стали занимать бульварные романы про сыщиков, бандитов, кровавые убийства, но тут в читальном зале перестали давать бутерброды, и все наши великовозрастные в длинных, брюках, подвитые девчонки с браслетами бросили его посещать. Я никогда не считал себя уродом в семье и поступил так же.

Брат мой жил с хозкомовцами в лучшей палате интерната: здесь спал и я. В комнате стояло десяток – полтора железных коек с торчащими из-под матрасов досками разной величины, на которых мы публично казнили вшей, клопов. Наволочки на тощих подушках лоснились от наших грязных волос, одеяла были вытертые, солдатские. Однажды ненастным осенним вечером ребята стали рассказывать сказки. Когда очередь дошла до меня, я передал содержание брошюры о Нике Картере – короле американских сыщиков.

– И про все это написано в книжке? – не поверили хозкомовцы. – А нам в школе какую-то бузу подсовывают, как мальчик сливу украл и его за это бог косточкой поперхнул. Да ты не заливаешь, Водяной? Ну и молодец! Такой шкет, а все заучил: трепетя, как на граммофоне. Знаешь еще?

– Спрашиваете! – расхвастался я. – Только у меня в животе бурчит.

Я с головой закрылся дырявым одеялом. Сон был самым верным средством от голода: утром откроешь глаза – уже пора завтракать.

– Вот орангутан полосатый, чего ж ты не сказал раньше? – расхохотались хозкомовцы.

Сундучки их раскрылись как по колдовству, и в подол моей рубахи поплыли галеты, мослы, обложенные янтарным жилистым мясом, розовые плитки вареного рафинада. Хозкомовцы имели самые тяжелые кулаки в интернате, и во время дежурства в столовой, на кухне им дозволялось забирать себе довески. Мы с братом устроили банкет, вся палата подкрепила свои силы, и я стал пересказывать новый роман:

– ... и вот пробил полночь, а дождик хлещет, я те дам! Она подошла к упокойнику лорду и зарыдала слезами. Ладно. Вдруг из бархатной занавески выглянула Красная Маска, с ножиком – зирк, зирк. Но тут же загредел голос: «Ошибся, убиец! Здесь ее спаситель!» Ладно. Блеснула молния – ух ты! – и они увидели, что упокойник вдруг поднялся из гроба. Оказывается, это был совсем и не упокойник, а вообще переодетый сыщик с маузером. Ладно. Тогда тот как прыгнет ему на грудь, а этот как даст ему под скуло, они обое упали на пол, и тут она стала помогать, и ему надели железные нарукавники...

От страха у меня временами прерывался голос, и я мог только жестикулировать.

Под утро я совсем охрип, но получил новый заказ от хозкомовцев. Лил дождь, мне дали тужурку с длинными, по колено, рукавами, австрийские ботинки, подбитые гвоздями с крупными шляпками, и отправили в читальный зал. (Воспитатели давно проведели о моих незаконных отлучках из интерната, но когда узнали, куда я хожу, сами стали отпускать.) Я потянул

медную ручку высокой белой двери. Черные лакированные столики стояли пустые, деревянные кресла с высокими спинками покрылись пылью.

Библиотекарша порывисто поднялась из-за ореховой конторки мне навстречу. Она была в теплой вязаной кофте, а ее пышные волосы покрывала черная меховая шапочка.

– Витя? – сказала она, засияв, как лампадка, в которую подлили масла. – Я же говорила, что ты ходишь совсем не из-за бутербродов. А нам даже дров не дают: видишь, как у нас холодно, сыро. Ничего, это послевоенные трудности. Советская власть еще построит вам дворцы-университеты, и ты сам будешь в них учиться.

О том, чтобы учиться, пусть даже во дворце, я как-то не думал, с меня хватало и Петровской гимназии. Библиотекарша открыла дверцу и торжественно провела меня за конторку, к самым полкам.

– Выбирай. Хочешь, я дам тебе техническую книгу, помнишь, ты просил? Лучше роман? Ну я же говорила, что тебе пока надо читать беллетристику! Ребят у нас осталось мало, заниматься будет очень спокойно, и я смогу давать тебе любую книгу. Ты доволен?

Я был доволен.

Сундучок мой ломился от снеди, я выменял себе цветные карандаши, бумагу и теперь мог отдаться своей страсти – рисованию. Вся палата за мной ухаживала.

Пересказывать романы Майн Рида, Луи Жаколио меня просили и «приходящие» воспитанники из бывшей гимназии, угощавшие меня за это домашними пирожками с горохом. И, наконец, моим искусством заинтересовался Баба. Однажды мы возвращались с ним из Кадетской рощи, неся за плечами вязанки сухостоя для обмена на макуху у торговок Сенного базара. Он всегда чем-то промышлял, подторговывал, кого-то надувал. Мечтой Бабы было когда-нибудь разбогатеть и наесться досыта: «Набить брюхо, чтобы оно лопнуло». Опускалась мгла, вдали обрисовался минарет с ободренным полумесяцем, глиняная стена татарского кладбища. Я шел в старой шинели, перешедшей ко мне от брата; Баба кутался в какой-то подрясник, громко шаркал найденными им на помойке дамскими туфлями на каблуках разной величины.

– Об чем это, Водяной, ты там трепешься пацанам? – спросил он. – Говорят, цельные спектакли представляешь в палате. А ну-ка залей и мне. Жалко?

Я рассказал «Страшную месть» Гоголя. Передавая, как из могил поднимаются мертвецы, я выл на разные голоса и скрежетал зубами. Баба стал ежиться, озираться на каменные надгробья, склепы и совсем притих. Потом робко попросил рассказать еще что-нибудь. Мне не хотелось: гнилая веревка обрывалась, дрова падали – не до этого было.

– Вот же ты зануда, Водяной! – закричал Баба, когда мы прошли кладбище. Задаешься на фунт! Представь-ка мне тогда осемнадцать «кузнечиков», что должен, не то я хоть и не стекольник, а вставлю тебе фонарь под глаз.

Я еще не расплатился с Бабой за читальню. Получая окурки, он божился, что я его обжуживаю и отдаю слишком маленькие – три считал за два, и мне надоело собирать для него, да и самому не хватало на курево.

– Во когда вспомнил, – возмутился и я. – Бутерброды-то давно и давать уж перестали. Что? А потом ты как рядился? Как рядился? Вспомни. За пятьдесят охнарей, а это уж я сам добавил тебе больше. Ну и хватит. Гляди, моим табаком губы сожгешь.

– Нет, ты скажи, где ты этих книжек начитал? – не слушая меня, хорохорился Баба. – В читальне, вот где. А кто тебе туда показал ход? Я показал ход. Вот ты теперь и должен мне целый... полгода целых рассказывать бесплатно. Схочу и заставлю. Скажешь, слабо?

– Слабо!

Баба молча опустил вязанку, выставил плечо и торопливо стал подтягивать рукава подрясника. Я тоже выставил плечо, сжал кулаки и старался, чтобы незаметно было, как дрожат у меня коленки. Баба был чуть постарше меня и притом считал себя обиженным: я готовился только защищаться.

– Так слабо? – весь побледнев, пропустил сквозь зубы Баба.

Я с трудом собрал все силы, чтобы еще раз пробормотать «слабо», а сам подумал, что лучше б не колотыриться и отдать восемнадцать «кузнечиков», иначе мой нос может потерять свою первоначальную форму. Надувшись как индюк, Баба сделал ко мне шаг, неуловимым движением отвислого живота подобрал штаны и... поднял вязанку на плечи.

– Жалко об твою поганую харю кулаки марать, – сказал он, отводя желтые глазки. – Ладно, расскажи мне еще один роман, и будем в расчете. Вот же ты, Водяной, какая стерва... Скоро, однако, мои скудные знания истожились, я начал завираться, и хозкомовцы потеряли интерес к моим байкам. Рассказывать стало некому, но в этом уже не было и надобности: я привык к чтению.

Прошли годы, и книга стала для меня самым верным, самым умным и близким другом: она помогла мне понять мир, полюбить правду и сделалась той путеводной звездой, которая осветила всю мою трудную жизненную дорогу.

СЫН КНЯЗЯ

Интернат наш перевели на Ермаковский проспект в угрюмое кирпичное здание бывшей Платовской гимназии. Чтобы воспитанники не били баклуши, нас решили приучить к труду: заставляли поочередно подметать, мыть жилые комнаты, коридоры, клозет.

Наступило мое дежурство. Повозив мокрой щеткой по выщербленному полу спальни, я загнал грязь под кровати и понес помой вниз, на первый этаж. Ведро было тяжелое, подбивало ноги, и на каждой ступеньке я как бы нечаянно старался немного выплеснуть. Лестница имела два звена; к ее концу я надеялся заметно облегчить свою ношу.

Внизу, в полутемном вестибюле с ободранными колоннами, молча толпились огольцы. Уперев руки в бока, на деревянном жестком диванчике сидел смуглый, черноволосый, откормленный человек в новой кожанке. Хромовые начищенные сапоги его блестели так, что в них можно было глядеться.

Причина для отдыха была вполне законная, я поставил ведро, пролез в первый ряд.

– Что тут такое?

– Да тут, понимаешь, пустячное дело, овца волка съела, а в общем, сопливых не хватает, тебя ждали – И лохматый верзила схватил в пятерню мое лицо, сделал «завертку» – скрутил набок нос и губы.

Я вырвался, попятился назад, но человек в кожанке потянул меня за рубаху, и я очутился в его больших сильных руках. Он, улыбаясь, оглядел меня со всех сторон, пощупал мускулы, точно собирался покупать. Мои кудрявые волосы настоятельно требовали мыла, гребня, с грязных ног до зимы не сходили цыпки, и я всегда шмыгал носом.

– Вот этот мальчонка мне нравится. У тебя, дружок, есть в городе родня?

Мой старший брат Владимир закончил школу второй ступени и уехал к бабке в станицу Урюпинскую. Теток я не считал за родню, а сказать, что у меня есть сестры, постеснялся.

– Никого.

– Свободный казак? Ясно. Пойдешь ко мне в дети? Я не знал, шутит со мной человек в кожанке или говорит взаправду, и хотел было вырваться. Незнакомец, крепко сдавив меня коленями, весело продолжал:

– Откормим мы тебя, как рождественского поросенка, будешь ходить в гимназию нули хватать. Обижать тебя у нас некому: вся наша семья – жена да я. Небось в приюте-то уж надоело за вошкой охотиться?

От общего внимания я не знал, куда деть глаза. Учиться меня мало тянуло, а вот наесться хоть раз досыта, чтобы счастливо заснуть в кровати, – об этом мы все мечтали в интернате. «А что, если и в самом деле податься к этому дядьке? – вдруг подумал я. – Может, он даже и колбасу шамает!» Что я терял? Правда, мне следовало бы сходить в приют бывшего епархиального училища, где жили две старшие сестры, но советоваться с девчонками я считал для себя постыдным: казак ведь. Притом можно сейчас, слава богу, бросить мыть клозет. – Я не знаю, – прошептал я, потупясь.

– Значит, не возражаешь? – улыбнулся незнакомец, – Молодчина. Отвага мед пьет и кандалы рвет.

Вместе мы сходили к заведующему в канцелярию. Человек в кожанке забрал мою метрику, и с тех пор я больше ее никогда не видел. Воспитатель принял от меня ржавую койку, набитую клопами, застеленную прожженным папироской одеялом. Я раздарил ребятам свои цветные карандаши, альбом с марками, айданы. В сыром вестибюле меня стеной провожали воспитанники; лохматый верзила с хохотом крикнул на прощанье:

– Завтра, Витька, еще увидим тебя на базаре в студне. Спробуем, какие они на вкус, твои мослы.

Я съезился. Зимой прошлого, 1921 года у нас в Новочеркасске осудили семью людоедов: они ловили детей, прирезали и варили. Не готовится ли и мне такая участь? Но входная дверь уже с тяжелым стуком захлопнулась, как бы отрезав путь назад.

Ранняя ноябрьская заря окрасила холодное небо в тускло-красный цвет, мрачно блестел темный ободранный купол кафедрального собора. Под ногами шуршали жухлые листья, над облетевшими тополями Ермаковского проспекта с карканьем носилось воронье.

– Запомни мои слова, малец: покорное телятко двух маток сосет, – заговорил человек в кожанке, пронизывая меня взглядом черных глаз. Он достал из кошелька бумагу. – Свою старую фамилию теперь забудь вместе с приютом. Видишь этот документ? Здесь написано, что у меня есть сын Боря Новиков, одиннадцати лет. Ты и есть этот сын.

Мне было на два года больше, но впоследствии я так часто «менял» свой возраст, что в конце концов и сам запутался, сколько мне лет.

Свернули на Старый базар. Толкучка кишела спекулянтами, словно гнилое мясо червями; всюду шныряли оборванные вороватые беспризорики. Мы вошли в лавчонку готового платья. Новиков поздоровался с торговцем, хвастливо сказал, кивнув на меня:

– Вот привел сына, одеть надо. Он у меня весельчак, плясун. А ну, Боря, ударь гопака! Не хочешь? У него живот болит, конфет объелся. Ладно, в другой раз. Дай нам пока, хозяин, вот те никудышные штаны, чтобы все девки загляделись.

Мне было неловко: плясать я совсем не умел, а за эти годы до того отошал, что мне вообще было не до веселья. Названный отец стал примерять мне новые диагональные штаны; я топтался перед зеркалом и не мог оторвать от себя блаженного взгляда, а он бросал мне в растопыренные руки все новые и новые вещи: белые бурки с желтыми кожаными головками, шуршащую рубашу из кубового сатина, белую кубанскую шапку, сияющую позументом.

– Ну вот теперь парнишку и женить можно, – с улыбкой сказал торговец, провожая нас из лавчонки.

В потемках заморосил промозглый дождик, когда мы покинули Старый базар и начали спускаться к Аксаю. Я крепко прижимал к груди покупки с обновкой. «Отец» нес газетный пакет, и в нем лежала не только самая настоящая вареная колбаса, а еще и свертки со всяческой едой, бутылка вина и даже виноград. В окнах кое-где зажглись огни. Окраина города была разрушена снарядами гражданской войны, дома стояли разгороженные, без ворот – словно раздетые. Мы пробирались по каким-то задворкам, мокрый бурьян доходил мне до груди. На пустыре перед одиноким флигелем с наглухо закрытыми ставнями мы остановились. Взяв меня за руку, Новиков стал спускаться в полуподвал, и я испуганно уставился на женщину, что открыла нам дверь. Волосы у женщины были бесцветные, молодые щеки блеклые, ступала она неслышно и чем-то напоминала белую мышь.

– Вот, Боря, твоя мама, – сказал «отец». Она молча пропустила нас и улыбнулась одним краем рта.

Квартиру Новиковы занимали маленькую, из двух полупустых комнатенок. Во второй, побольше размером, стоял стол, застеленный чистыми газетами. Принесенную снедь – ситник, жареную аксайскую рыбу, колбасу, виноград – «мать» положила прямо на эту «скатерть»; мне налили рюмку вина, и я потихоньку расстегнул верхнюю пуговицу штанов, чтобы побольше съесть. В граненом стакане горела белая свеча, капающая стеарином. В самоваре я увидел свое приплюснутое щекастое лицо и подумал, что если мне всегда позволят наесться досыта, то я скоро буду и на самом деле толстым. Мне очень хотелось стать толстым – в интернате это считалось красивым. Кипятку в самоваре было пропасть, я один выпил шесть стаканов, аж Новиковы удивились, что я маленький, а у меня такой большой живот. Но чая им жалко не было, и я решил, что они богачи и люди образованные.

– Значит, ты, сынок, чаще глотал голодную слюну, чем хлеб? – улыбаясь, расспрашивал меня «отец». – Ничего, поправишься. Кем ты хочешь стать: ученым, врачом... или, может, пианистом?

– Мне все равно. Лучше извозчиком. На дутых шинах.

– Высоко целишься, – усмехнулся «отец». – Чисто по-пролетарски, верно?

Я утвердительно кивал головой и рассматривал голые стены, оклеенные выцветшими обоями. В комнате стояли простая, как в интернате, железная койка под зеленым мохнатым одеялом и два венских стула, – я сидел на корзине. Зато было полно чемоданов, баулов, сак-вожжей, и это напоминало вокзал: казалось, ударит третий звонок – и квартира опустеет.

Я ел все, что мне подкладывали, боясь, что снесь скоро уберут, и вслед за куском рыбы сразу совал в рот кисть винограда. Под конец челюсти мои устали от непрерывного жеванья, а веки вдруг начали слипаться, и я никак не мог их разодрать.

Откуда-то, будто с потолка, в уши мне проник удивительно знакомый мужской голос, с чувством певший:

На паперти божьего храма
Оборванный нищий сидит.
Он видит: какая-то дама
Роскошно одета на вид.

«Названный отец», – догадался я и сразу куда-то провалился.

– Э, да он клюет носом, – сказал над моей головой тот же голос. – Постели ему, Зина, в прихожей.

Отправляясь спать, я незаметно стащил со стола вилку, сунул в карман: если «родичи» станут резать на студень, буду защищаться. Сонно пошатываясь, я ступил на порог передней комнатки; внезапно позади послышался грохот, звон разбитой посуды. Я испуганно оглянулся: на полу возле опрокинутого стола, осколков стакана во весь рост вытянулся Новиков. Кулаки у него были сжаты, из посиневшего рта текла пена, он мычал, страшно скрипел зубами и бился затылком о пол.

– Что с ним такое? – забормотал я.

– Ничего, мальчик, это пройдет. Помоги мне перенести его на кровать, тихо ответила названная мать. и на ее губах я снова увидел кривую улыбку.

Мне стало жутко. Свеча коптила, огромные тени словно кривлялись на стене. «Отец» оказался очень тяжелым. Я с трудом закинул его ноги на перину, и в это время он так лягнул меня сапогом в живот, что я отлетел к столу и свалился на пол. Названная мать не торопясь положила мужу под голову подушку, вытерла кровь с рассеченной кожи у виска.

Я, дрожа, совал ему в рот чайную ложку и боялся, как бы он снова не лягнул меня сапогом. Когда Новиков немного затих, я спросил у названной матери:

– Он не сбесился? Чего это он говорит?

– Поди, мальчик, спать. Я теперь сама управлюсь.

Она выпроводила меня и закрыла дверь, так что у меня в передней осталась только узенькая полоска света; подслушивать было неудобно. Пол был деревянный, холодный, я стоял босиком, и от страха у меня не попадал зуб на зуб. Отчим снова стал выкрикивать про конский завод, про схороненное золото, родовое княжеское имение и попеременно сыпал словами на каком-то незнакомом языке.

Сколько прошло времени, я не знаю. Наверно, стояла глухая полночь – с улицы не доносилось ни звука. Когда в большой комнате все затихло, я решил бежать. Кто бы ни был этот припадочный тип: нэпман, людоед или дореволюционный барин, – я не хотел у него оставаться

ни за какие коврижки. Только впотымах я никак не мог разглядеть, куда положил новую одежду. В старом барахлишке мне не хотелось возвращаться в интернат: ребята засмеют.

Скоро я отыскал шапку, но она почему-то не лезла на голову и вообще стала выше. Потом я нашел левый ботинок и по оторванной подметке определил, что это мой приютский; правый ботинок куда-то запропастился, и я надел пока один. Ладно уж, в чем ни выскочить, абы уцелеть. Вытянув руки, я долго блуждал по комнате в надежде отыскать новые штаны или хотя бы дверь, пока не загремел стулом. Я бросился на постель, затаился.

«И зачем я, разнесчастный, кинул интернат? Там бы меня не стали резать на студень».

Сдерживая слезы, я крепко сжимал в кулаке вилку. Что это никто не идет по мою душу? Для виду я решил притвориться, будто сплю, а когда открыл глаза, светило утро.

Сквозь заколоченную ставню солнце просунуло в комнату свою ослепительную золотую шпагу, на улице радостно орали воробы: «Жив, жив, жив». Я сел и огляделся: новые штаны висели тут же над подушкой, а то, что я принял за шапку и пытался надеть на голову, оказалось муфтой. На пороге гостиной стоял «отец», глядя на мою ногу, обутую в старый ботинок, весело говорил:

– Одеваешься, сынок? Опорки-то эти брось, щеголяй уже в бурках.

Смуглое лицо его было тщательно выбрито, но круги под глазами выступали и под слоем пудры, а у виска темнела запекшаяся кровь. Новиков дал мне янтарную щеточку и показал, как надо чистить зубы; сперва мне это понравилось, потом я наглотался зубного порошка, и меня чуть не вырвало.

После завтрака меня сводили в баню, одели во все новое, и мои ночные страхи и сомнения прошли. В самом деле: если «родичи» мне купили новые штаны, не жалеют колбасы, чаю, то, стало быть, не собираются резать на холодец. Я хотел сбегать к сестрам в приют, похвастаться, как ловко мне подстригли затылок; за эту ночь я уже, наверно, немного потолстел, – но меня не пустили.

Весь день я протомился взаперти, жуя, что попадало под руку. С наступлением сумерек вновь накатила тревога: не откармливают ли меня, как рождественского индюка, чтобы стоил подороже? Теперь я хорошо изучил дверной запор, выход из полуподвала на пустырь: в случае бегства не запутаюсь. Ночью я опять решил бодрствовать. В соседней комнате все никак не гасили свет, слышались шаги, тихий говор, скрип открываемых корзин, чемоданов. Что это там делают названные родители? Я лежал на старом пальто, застеленном простыней, и щипал себя за щеку, больно дергал за волосы: боялся заснуть.

И опять не выдержал.

На рассвете меня неожиданно разбудил сам отчим. Он стоял одетый, словно совсем и не ложился в постель, но выглядел свежим, бодрым.

– Подымайся, сынок. На улице извозчик ждет: уезжаем.

– Куда? – пробормотал я спросонья. «Отец» засмеялся.

– Все туда же. С земли, дружок, никуда не денешься, от людей никуда не уйдешь. Слышал поговорку: рыба ищет где глубже, а человек где лучше? Одевайся поживее.

Посреди комнаты я увидел упакованные корзины, чемоданы, саквояжи. «Отец» вышел в большую комнату, и они стали с женой о чем-то шептаться. Открыв дверь, кликнули меня. Названная мать поспешно повернулась ко мне спиной: кофточка ее была расстегнута, и она чего-то распарывала под грудями. Лифчик? Я знал, что женщины «для моды» носят лифчик. «Зачем паханы разбудили? Зачем? – опять на меня напали страхи. – Наверно, хотят завезти, чтобы ни сестры, ни приютские огольцы не отыскали». Я решил в дороге держать ухо востро и запомнить весь путь.

– Оголи живот, – приказал мне «отец». – Зачем?

– Оголи, тогда и узнаешь.

Я повернулся лицом к окну, задрал рубаху на голову и стал глядеть через ситцевый подол, что он будет делать. Если пырнет в живот ножиком, я лягну его ногой и что есть силы заорю «караул!». Названная мать приветливо улыбнулась мне: кофточка ее была уже застегнута, и она обеими руками держала длинный плоский сверток, зашитый в полотно. «Отец» крепко обвязал его мне вокруг живота и долго оправлял рубаху, чтобы не было заметно снаружи. Сверток был тяжелый и теплый, как будто его только что сняли с голого тела.

– Смотри, Боря, – сурово и торжественно сказал «отец». – В этом свертке очень важные документы. Не потеряй. От них зависит весь наш достаток.

Наскоро позавтракав, мы стали выносить из квартиры чемоданы, корзины, саквояжи. Я тихонько сунул в карман кусок колбасы и остаток булки. Перед нашим домом в промозглом тумане смутно обрисовывался экипаж, извозчик в синей поддевке. Я зевал и сонно поеживался. Вещи погрузили, мне указали место на козлах, и крупный гнедой мерин бодро зацокал копытами по булыжной мостовой. Прощай, Новочеркасск! Вот памятник атаману Платову, Московская улица – сколько раз я тут ловил «кузнечиков»! Вот здание бывшего Офицерского собрания, где помещался читальный зал. Одна за другой потянулись пустые знакомые улицы, черные, полуголые тополя, сонные дома с опущенными жалюзи.

Поехали мы почему-то не на городской вокзал, а за три версты на полустанок Хотунок и там сели в чадный вагон, переполненный мешочниками. В то время по стране шныряли разные подозрительные люди (вроде нашей «семьи»): контрабандисты, спекулянты, нарушавшие торговлю; отряды особого назначения производили в поездах обыски.

«Отец» наставительно сказал мне:

– Как увидишь, что пришли чекисты, – скрывайся в уборную: ты маленький, тебя пропустят. А если и туда постучатся, лучше выброси сверток в унитаз, но чтобы он никому не попал в руки. Понял? Никому!

Сидеть на полке мне было неудобно: сверток давил живот, и, тайком ощупав его, я обнаружил, что документы почему-то твердые и круглые, вроде золотых монет или перстней с камнями. Всю дорогу я не отлипал от окна и на каждой остановке выбегал прочитать название станции. Эх, и велики наши донские степи: казалось, год тянись на колесах – и не увидишь конца-края. За Воронежем, когда я стоял в тамбуре, с площадки ко мне шагнул дюжий бородастый верзила в опорках, жуликовато огляделся:

– А ну, пацан, дай-ка шапку померить. Он сунул мою кубанку себе за пазуху; я удивленно разинул рот. Босяк показал мне увесистый грязный кулак:

– Не хочешь, детка, вон туда, под колеса? Так завяжи язычок в узелок.

Однако скрыться в другой вагон бородач не успел: из-за моей спины внезапно выступил «отец», спокойно ему посоветовал:

– Примерил, а теперь отдай. У мальчишки вон уши замерзли.

Босяк почесал затылок и разочарованно вернул мне шапку.

Новиковы следили за каждым моим шагом, и когда я сидел в уборной, «отец» где-нибудь поблизости курил папиросу и любовался природой. Но убежать с их драгоценностями я не собирался. Куда? К старшему брату в Урюпино? Или обратно в интернат? Заблужусь. Да и на улице меня все равно обобрали бы золоторотцы.

Скоро названные родители сами сняли с меня сверток: мы добрались до Киева, и лихач на дутых шинах покатил нас по широким асфальтовым улицам, обсаженным каштанами, мимо златоглавых монастырей, многоэтажных зданий и величественных памятников.

– Мать городов русских, – растроганно сказал «отец», покачиваясь в фаэтоне. – Купель православия.

Каким жалким показался мне Новочеркасск! А я-то раньше считал, что он самый большой город на свете.

Остановились мы в двухэтажной гостинице, по Фундуклеевской, № 6. Весь низ дома занимал украинский театр имени Тараса Шевченко, и невзрачный подъезд его был пышно разукрашен огнями и огромными красочными афишами. Контора театра и сама гостиница помещались наверху; целый день по красному ковру лестницы бегали бритые развязные актеры, слышались ненатуральный раскатистый смех, остроты.

«Отец» круглыми сутками пропадал «по делам», названная мать или спала до обеда, или молча переодевалась перед зеркалом в разные платья. Хотя я жил в одном с ней номере, но мало замечал ее, почти не слышал. Эта молодая, рано поблекшая женщина казалась тенью своего мужа.

В сумерках к нам осторожно стучался курносый еврей в старомодном длиннополом пальто, с рыжим саквояжем, и меня отправляли гулять. Раз, надевая шинель, я замешкался в крошечной передней и услышал негромкий голос еврея: «Ваше золото – это таки золото, и оно имеет высокую пробу! Но и мои червонцы это таки червонцы, хоть они всего-навсего и бумажные!» Меня не интересовало, какими делами занимались с ним названные родители. Новиковы меня ни разу не ударили, кормили сытно, об учебе не заходило и речи: такая жизнь меня вполне устраивала.

В конце недели у отчима повторился припадок эпилепсии. Он опять извивался на полу, скрежетал зубами и выкрикивал что-то про свой знатный титул, про имение и запрятанные драгоценности. Затем он в сапогах лежал поверх розового тканевого одеяла на двуспальной кровати – обессиленный, вялый, с тусклыми полуприкрытыми глазами. Поздно вечером отчим запер дверь номера, подсел ко мне на засаленный диван, сказал, понизив голос:

– Сегодня в бреду, да еще в Новочеркасске, я проговорился кое о чем. Так вот, Боря, мы тебя любим, и никаких секретов... слушай: я – князь. В Москве у меня четыре каменных дома, имение под Казанью, свой конный завод. Богато жил. Революция все реквизировала, но мне удалось переделать документы на фамилию жены, бежать. Теперь мы пробираемся в город Лондон. Слыхал? В Англии город. При дворе короля Георга Пятого у меня связи, а в тамошний банк я еще до империалистической войны перевел кое-какие ценности. На днях польское консульство выдаст нам визу, и тогда все. Понял? Уедем из Киева. Так запомни: сейчас время тревожное, и коли тебя кто начнет спрашивать – чекист или жидочки из соседнего номера, смотри не проговоришься, что ты у нас приемыш. Иначе знаешь что тебя ожидает?

Он медленно вынул из кармана небольшой плоский револьвер, точно взвешивая, подкинул в руке.

Оставшись один, я выпил целую кружку воды и все думал, что же мне делать. Какие эти припадочные князья отчаянные! Значит, меня взяли из интерната не для холодца, а чтобы завезти в чужую сторону? Ничего не пойму. Зачем это «отцу» понадобилось? Ему хорошо – он бывший буржуй, а каково-то придется мне? Английский король может узнать, что я советский детдомовец, и еще, гляди, посадит в тюрьму. Бежать от Новиковых? Но что я буду делать один на улице? Там и без меня полно беспризорников.

Выпал молодой, нежный, пушистый снежок, а мы все еще жили в гостинице. Забавляясь от скуки, «отец» как-то показал мне три пуговицы: зеленую, красную и белую.

– Какая тебе нравится? Мне нравилась красная.

– Мужик, – брезгливо поморщился он. – Белый цвет – самый чистый предмет. А вот тебе другая поговорка: дурак – красному рад. Как был ты сыном школьной сторожихи, так и остался, а вырастешь... одна тебе дорога – в дворники.

Он тут же поинтересовался, что я еще знаю. Я знал стишок про серого козлика и как от него остались рожки да ножки. Новиков расхохотался и показал мне, как надо при чтении отставлять ногу и закатывать глаза.

После этого я спел «Смело, товарищи, в ногу». Он дирижировал, а я с удовольствием разевал рот, мне нравилось такое «образование». Но «отец» неожиданно сказал, что все

нынешние песни крикливы, режут ухо, и затеял вольноамериканскую борьбу. Он гаки не шутя млял мне шею, швырял на пол, я кряхтел и с трудом сдерживал желание укубить его или дать головой в живот. Себя с Новиковыми я чувствовал неловко: называть их папой, мамой, как заправдашних родителей, я не мог, и потом, я совсем отвык от ласки и считал постыдным «лизаться».

– Застенчив ты или дикий такой? – сказал «отец», сев на диван и отдуваясь. – Это плохо. Ты сирота и должен всем нравиться: влезть в душу, будто дым в глаза. Сам же подходи к людям, как вот пасечник к ульям: в сетке. И пчелке не дашь себя укубить, и медок выгребешь. Не по зубам я тебе задал орешек, сынок? С годами поймешь. Время мучит, время и учит.

Приятелей у меня не было, сидеть в номере под «родительским» надзором надоедало. Я старался потихоньку улизнуть на улицу и с папиросой во рту пошататься по Бессарабке или залезть на Владимирскую Горку, откуда открывался чудесный вид на Днепр. Новиковы иногда совали мне мелочь на карманные расходы. Однажды я напился пива и вернулся в гостиницу поздно, когда за обледенелым окном уже вспыхивали фонари. Дома я ожидал выговора. Названная мать пудрилась перед трюмо, отчим, одетый в кожанку, затягивал ремнями дорожный мешок.

– Гулял? – спросил он ласково.

– Так. Возле дома стоял.

– А у нас, Боренька, дела осложняются... – Отчим оглянулся на жену. – В консульстве за визу требуют... – Он сложил три пальца щепотью и потер их, словно что-то пробуя. – Понял? Взятку валютой. И ничего не подделаешь, придется дать да еще и улыбнуться: знаешь, сила ломит, хитрость сгибает, а рубль всех покупает. Отступить нельзя, а денежек-то – фьюить! Вот мы и решили: мама твоя поедет в наше имение под Казанью и выкопает спрятанное золото, а мы с тобой подождем ее здесь, в Киеве. Ладно? Уезжает она сегодня ночным, мне случайно удалось купить билет. Хочешь проводить со мной маму на вокзал?

Я не открывал рта, боясь, что запахнет пивом,

– А хочешь, сходи в театр. Я кивнул утвердительно.

– Вот и ладно, гуляй. А я скоро приеду, ходим в ресторан, поужинаем.

«Отец» дал мне пачечку денег, и, прощаясь, они оба меня поцеловали. Я весело отправился на Крещатик, купил билет в кинотеатр «Шанцер», набрал в буфете всякой всячины: пирожных, бутылку лимонаду, молочных ирисок. Я объелся сладостями, в зрительный зал вошел отяжелевший. Фильм попался про любовь; когда я проснулся, сеанс окончился.

В гостинице швейцар передал мне ключ: я удивился, что Новиков еще не вернулся с вокзала. Ночью я несколько раз просыпался. За стеной сурово, размеренно тикали часы, в углах номера таинственно шуршала темнота, смутно и мертвенно в свете невидимого уличного фонаря мерцали два мерзлых, узористых оконных стекла. Мне было боязно одному, и я с бьющимся сердцем прислушивался, не идет ли наконец «отец».

Но он не пришел. Деньги вчера я истратил не все: хватило сытно позавтракать, но у меня впервые за последние три года пропал аппетит.

Я до позднего утра прождал Новикова в коридоре у перил лестницы, покрытой красной дорожкой, и заплакал.

– Ты, хлопчик, потерял чего? – ко мне важно подошел хозяин гостиницы Гречка, приземистый, с насупленными седыми бровями, в лакированных сапогах и с толстой золотой цепочкой по жилету.

Из номеров повыбегали дамы с голыми ногами, прикрывая груди наброшенным сверху пальто; за ними спешили плешивые мужчины с закисшими глазами, в подтяжках поверх нижних сорочек. От слез у меня распух нос, но я каждому должен был подробно объяснить, отчего я плачу. Все стали оживленно обсуждать: бросили меня родители или их зарезали бандиты.

– Сейчас в Одессе у всех грабителей револьверы, бомбы, – делая круглые глаза, говорила молоденькая белокурая женщина в папилютках. – Они расклеили по улицам объявления, в которых так прямо и предупредили население: до двенадцати ночи в городе все ваше, после двенадцати – наше. Да. да. Представляете? Ужас! А милиция совершенно бездействует.

И она сочувственно погладила меня по спутанным волосам.

Оттого что все меня жалели, я разревелся еще пуще и не заметил, как снизу по мягкому ковру лестницы поднялся еще кто-то, спросил уверенным, барственным голосом:

– Хочешь кушать, мальчик?

Надо мной склонился крупный, дородный мужчина в бобровой шубе. Под его вздернутым носом бабочкой прилипли маленькие усы, полные, розовые, холеные щеки были гладко выбриты, от белого шелкового кашне пахло духами.

Я вспомнил, что не завтракал, и перестал хлюпать носом. Когда я не хотел есть?

Мужчина в бобрах уверенно взял меня за руку:

– Идем со мной.

Перед ним почтительно расступились, образовали проход.

Новый мой патрон, как узнал я после, был богатый нэпман, арендатор театра имени Шевченко – Боярский; здесь его звали «администратор». Он привел меня в контору, усадил на крытый канареечным шелком диван; актеры мигом нанесли из буфета винограду, бутербродов, конфет, а дамы стали восхищаться, какой я кудрявый да хорошенький. Я наелся и сразу успокоился.

Боярский послал за извозчиком; веселый молодой артист, ежась в холодном клетчатом полупальто, поехал со мной на вокзал. Там мне позволили осмотреть всю огромную камеру хранения – сотни полок, забитых корзинами, мешками, чемоданами, баулами, саквояжами с железнодорожными наклейками. Около часа отыскивал я вещи «родителей», вспотел от напряжения, по так ничего и не нашел. Почему их не было? Куда они делись? Увезла названная мать в Казань? Однако зачем? Ведь она сама хотела вернуться обратно в Киев, чтобы отсюда ехать в Польшу! И где в конце концов «отец»?

Опять у меня на глазах выступили слезы. Мой веселый спутник в клетчатом полупальто купил у лоточницы вафлю с кремом, стал успокаивать: дескать, милиция найдет родителей. Охваченный предчувствием, что меня бросили, я оттолкнул вафлю, заревел усерднее. Актер вдруг сдвинул брови, строго спросил:

– Ты зачем украл мои папиросы? Я разинул рот.

– А ну-ка, верни обратно, – потребовал он.

– Вы... чего? – ответил я, перестав плакать. – Не брал я папиросы.

– Рассказывай своей бабушке. Расстегни-ка шинель.

Я нерешительно исполнил его приказание. Актер высоко подсучил рукав клетчатого полупальто, показал мне пустую ладонь, осторожно сунул два пальца во внутренний карман моей шинели и... вынул пачку папирос.

Я обомлел.

– Та-ак, – протянул он голосом, не предвещавшим ничего доброго. – А ну, посмотрим, что у тебя в другом кармане. Ча-асы? Когда же ты успел у меня их спереть? Ничего себе малютка, сиротой прикинулся?

Слезы перестали катиться из моих глаз, я смотрел с испугом. Не во сне ли это со мной? Вдруг актер вынул из своего кармана мою рукавичку и широко улыбнулся. Несмело улыбнулся и я ему. Он ласково насунул мне шапку на брови, вновь протянул вафлю. Я взял ее, вытер остатки слез на щеках и охотно стал есть.

– Если будешь еще нюнить, – сказал мне актер, – знаешь какой я фокус сделаю? Превращу тебя в петуха и зажарю. Вот.

С вокзала мы возвращались друзьями. Вечером он повел меня в театр, и капельдинеры сделали вид, будто не заметили, что я занял плюшевое кресло в первом ряду. Украинского языка я совсем не знал, и это мне особенно нравилось: для меня всегда были скучны разговоры артистов на сцене, и главный интерес представляли выстрелы из пистолетов и декорация.

Эту ночь хозяин гостиницы Гречка благосклонно разрешил мне провести в том же номере. Следующий день прошел очень интересно: я вертелся за кулисами, артистки опять пичкали меня бутербродами, конфетами, и я совсем позабыл о пропавших «родителях».

В сумерках администратор Боярский повел меня к себе обедать. Он занимал большую квартиру в центре города за Крещатиком. В углу гостиной в зеленой кадке стояло странное деревце, похожее на поднятый хвост пуделя: с голым стволом и очень длинными листьями на макушке. Под высоким лепным потолком сияла хрустальная люстра. Вместо дверей между комнатами с потолка до пола свисали бархатные малиновые занавески с махрами. Навощенный пол блестел, отражая мебель, и ковровые дорожки глушили мои шаги.

Жирная завитая дама, сидя на черной круглой вертящейся табуреточке, играла на рояле; нежный отсвет розовых, зеленых камней на ее пальцах мелькал по клавишам. Она что-то там пела про «фа» и «до», я не понял, что это за песня. Возле коромыслом изогнулся учитель музыки, отбивая такт лаковым башмаком.

– Ось той хлопчик, про которого я тобі дзвонив по тэлэфону, – сказал Боярский даме.

Администраторша быстро поднялась с табуретки, поцеловала мужа в щеку и, схватив меня за руки, вытянула на середину гостиной.

– Ну здравствуй, очень рада с тобой познакомиться. Тебя звать Боречка? А отчего, Боречка, у тебя такие грязные ногти? Не любишь умываться? Ах ты, шалунишка, так нельзя, нельзя-а.

Сморщив нос, мадам Боярская взяла с зеркального трюмо золоченый флакон, согнутую трубочку и обрызгала меня одеколоном. Она усадила меня на голубой плюшевый диван с точеными ножками, устроилась рядом. Я вспотел, не знал, куда деть руки с грязными ногтями, и держал их все время в карманах штанов.

– Чем занимался твой папа? – тормошила меня администраторша.

Я сам не знал, чем занимался Новиков. Окружающая меня обстановка была совершенно роскошная, и я рассказал, что знал: «отец» – князь, у нас в Москве четыре дома, имение под Казанью (куда отправилась «мать»), и ехали мы за границу. Администратор, вытирая руки мохнатым полотенцем, недоверчиво переглянулся с женой. Мадам Боярская взволнованно поднялась с дивана.

– Значит, вы тайно эмигрируете?

Я не знал, что означает это слово, и не ответил. Администратор солидно произнес «гм». Жена взяла его под руку.

– Знаешь, Платоша? Схожу за Софой. Она москвичка, врач, практиковала и знает всю тамошнюю аристократию. Это просто любопытно.

Малиновые занавески на двери тяжело заколыхались за ее толстой декольтированной спиной.

Я съезился: а вдруг в Москве никаких богачей Новиковых вовсе и не было? И вообще, наверное, эта Софа видела меня в Новочеркасском приюте и знает, что я попросту Витька Авдеша по кличке Водяной и мать моя была сторожихой в станичной церковноприходской школе. Я на всякий случай пододвинулся ближе к двери, когда в нее вплыла сама Софа. Она была толстая, как будка справочного бюро, и внимательно оглядела меня в стеклышко на костяной палочке.

– Вот это и есть отпрыск знатной фамилии? – улыбаясь, спросила Софа.

Я потупился, чувствуя, как горят уши. С каким бы удовольствием я провалился сквозь пол!

– Припоминаю, – благожелательно продолжала дама, похожая на будку справочного бюро, – в Москве до революции жили купцы Новиковы, и дочку они выдали за какого-то татарского князька. Они были действительно миллионщики, имели свои каменные дома...

Спустя много лет, когда я учился в Московском литературном институте, мне часто негде было ночевать, и я вспоминал, что где-то здесь на одной из улиц находятся дома, некогда принадлежавшие «родителям»; вот бы найти и переночевать хоть в подъезде. Но в тот день я очень обрадовался, что в Москве были миллионщики Новиковы, стало быть, я не врун. Дамы сделали мне маникюр и повели обедать. На столе стояли расписные фаянсовые кувшинчики с винами, накрахмаленные салфетки были вложены в серебряные кольца со змеиной головой. Мне салфетку повязали вокруг шеи. За жирным борщом учитель музыки рассказал, что к ним во двор ходит рубить дрова бывший барон. Все соболезнующе посмотрели на меня. Администратор тут же пообещал устроить меня учиться. Мадам Боярская заинтересовалась, как жили именитые миллионщики, кто за мной ходил, бонна или гувернантка. Я не знал, кто это такая гувернантка, боны мне доводилось воровать у тетки, это были деньги, но как они могли ходить за детьми, я опять-таки не знал и молча продолжал хлебать борщ.

– Ну... кто у вас был из прислуги? – пояснила Софа.

О прислуге я имел понятие.

– Уборщица была. Моя мама полы сама никогда не банила.

Слово у меня сорвалось казачье. Надо было сказать «полы не мыла». За столом все вдруг смолкли и перестали есть.

– Мама... полы? – не совсем уверенно заговорила мадам Боярская. – Да нет же, Боречка, ты не так понял. Скажи тогда... на каком языке ты говоришь?

– А на русском же, – удивился и я. И, вновь почувствовав неладное, поправился: – Я и по-французскому знаю: ля-пуля – это курица. И еще кис кесе кто такое? Зовут меня: же ма пель Новиков. Могу и писать, но только печатными буквами.

Опять ложки застучали по тарелкам: казалось, всем стало неловко. Я замолчал и только как можно больше оттопыривал пальцы, чтобы все заметили мои благородные манеры.

Подали жаркое – что-то такое облитое соусом. В интернате мы все ели ложками – кондер, мясо и даже иногда чай: за недостатком кружек чай кое-кому разливали в тарелки. Теперь я удивился, почему возле меня лежат два ножа: обыкновенный серебряный и еще желтый, с кривым, точно клюв, лезвием. Каким резать? Я решил, что люди благородные должны резать именно необыкновенным кривым ножом. Я стал пилить им, но лезвие только скользило по мясу. В носу у меня было полно, платок грязен, как моя совесть, и я вконец запутался руками в салфетке.

– Что ты делаешь, Боря, это же нож для чистки фруктов! – откуда-то, словно с того света, донесся до меня возглас администраторши, но было уже поздно; стиснув зубы, я так придавил жаркое, что оно вылетело на камчатую скатерть, слегка обрызгав соусом хозяина. Руки у меня дрожали.

– Уберите, – холодно сказал Боярский прислуге, вытирая салфеткой пиджак. За столом продолжали смеяться, словно и не заметили моей оплошности. Но ничто так не унижает, как вежливое презрение. Меня уже больше ни о чем не расспрашивали.

Когда мужчины прошли в гостиную и закурили папиросы, я остался один и сел на стуле у двери. Вскоре за ними последовали дамы; прислуга в белом кружевном фартуке пронесла хрустальные вазы с виноградом, апельсинами, яблоками.

Я уловил голос учителя музыки:

– Может, мальчик действительно не успел получить образование? Когда началась революция, ему было всего пять лет.

– Сомнительно. Не чувствуется породы.

– ...случалось, что камердинеры, кучера выдавали себя за господ. Правда, в старину. Что, если его отец наградил барского добра и бежит за границу?

– Загадочная история.

Больше я ничего не разобрал. Минут десять спустя из гостиной послышался мелодичный голосок мадам Боярской, певшей под аккомпанемент рояля:

Средь шумного бала случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...

Последний аккорд рояля заглушили аплодисменты, возгласы: «Прелестно! Bravo!»

Свободно вздохнул я лишь часа два спустя на шумном, залитом огнями Крещатике. Падал снежок, я, как побитая собачонка, шел за бобровой шубой администратора. Проносились рысаки под голубой сеткой, из сияющих ресторанов вырывались звуки музыки. На панели переливалась нарядная толпа, слышался смех. Сквозь белую пушистую кисею, оседавшую с ночного неба, выступил сумрачный подъезд театра.

Огромная сцена тонула в полумраке. Среди декораций бегали откормленные крысы, от дыхания подымался пар. Администратор толкнул ногой дверь в театральную уборную – закопченную комнату без окон, с небольшими тусклыми зеркалами над туалетными столиками и застарелым запахом пудры, грима, табака. Вдоль фанерных стен вытянулись два продавленных и засаленных дивана.

– Вот тут и поселишься, – сказал Боярский, не глядя на меня.

Я тоже не смотрел на него. Молча принял его распоряжение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.